

Содержание

От автора.....	5
Незабываемое.....	7
Приложение.....	449
Фотоархив	479

*Памяти самых близких и дорогих мне людей —
отца и мужа посвящаю эту книгу*

От автора

Я прожила с Николаем Ивановичем Бухариным и самые счастливые, и самые драматичные дни нашей жизни. Последние шесть месяцев были настолько тяжки, что каждый прожитый день можно посчитать за столетие. То, что я предлагаю теперь читателю, я писала многие годы, используя любой час, свободный от семейных забот и тревог. Все пережитое никогда не покидало меня ни на день, бередя душу и тревожа ум.

Так уж сложилось, что моя жизнь протекала в среде людей, посвятивших себя целиком, без остатка, делу революции. Судьба большинства тех, кого я знала еще девочкой, оказалась поистине трагичной. Сегодня имена этих «изгнанников» из родословной своего Отечества возвращаются советским людям, нашей истории.

Рассказывая о Николае Ивановиче и тех роковых событиях, которые мне удалось пережить вопреки безжалостным ударам судьбы, я упоминаю Г. Зиновьева, Л. Каменева, Г. Сокольникова, К. Радека, Ю. Пятакова и других видных партийных и государственных деятелей, оклеветавших самих себя и давших по причине, не требующей теперь разъяснения, клеветнические показания против Бухарина. К несчастью, не избежал этой горькой участи и он сам, и А. Рыков, когда, сломленные морально, они оговаривали друг друга на печально знаменитом

судебном процессе по делу так называемого антисоветского «право-троцкистского блока». Таким было это страшное время.

Конечно же, я не могла не вспомнить и своего отца Юрия Ларина (Михаила Александровича Лурье), человека удивительной яркости и поразительного мужества, сыгравшего, вероятно, решающую роль в формировании моих убеждений и моего характера. К тому же он был другом Николая Ивановича, и их дружбе я обязана тем, что с детства знала того, с кем соединила меня потом судьба. Обширное место в моих воспоминаниях занимает командировка Бухарина в Париж весной 1936 года — пролог событий, которые начались тем летом, а завершились судилищем 1938 года.

Мемуары не могут не быть субъективными, но я стремилась быть правдивой и в этом стремлении предельно откровенной. Я уверена, что меня поддержал бы и сам Николай Иванович, в сложном характере которого не было ни малейшей фальши. Я надеюсь поэтому, что каждая деталь, каждая подробность будет небезразлична читателям. И пусть простят они меня и за избыток этих подробностей, и за невольные скачки в моем повествовании, продиктованные импульсивностью памяти. Я не утаила подробностей, которые, быть может, кого-то удивят и обескуражат. Но я вспоминаю чьи-то мудрые слова: «Не ждите от правды больше, чем она есть сама по себе».

Долго и упорно я боролась за реабилитацию Николая Ивановича и счастлива, что в возвращении его имени есть и мой вклад.

Благодарю своих друзей, всех тех, кто в трудные десятилетия оказывал мне моральную поддержку.

*Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу...*

А. Твардовский

В декабре 1938 года я возвращалась в Московскую следственную тюрьму после того, как уже в течение полутора лет находилась в ссылке в Астрахани, различных этапных и следственных тюрьмах и, наконец, в лагере для членов семей так называемых врагов народа в городе Томске, где я вторично была арестована и отправлена в тюрьму.

В то время многих жен крупных военных и политических деятелей вновь вызывали из лагерей в Москву — не для того, чтобы облегчить их участь, напротив, с целью ухудшить ее и тем самым уничтожить лишних свидетелей действительно совершаемых преступлений. Примерно одновременно со мной были вызваны в Москву жены Гамарника, Тухачевского, Уборевича, жена второго секретаря Ленинградского обкома партии Чудова, работавшего при Кирове, — Людмила Кузьминична Шапошникова. Все они впоследствии были расстреляны. Томский лагерь был для меня первым. До своего вторичного ареста я пробыла в нем всего лишь несколько месяцев, там мне пришлось пережить «бухаринский процесс» и расстрел Николая Ивановича. Именно там я особенно остро почувствовала трагедию того времени и, несмотря на ужас переживаемого лично, в большей степени стала воспринимать ее

как трагедию Советской страны. Томский лагерь, где содержались около четырех тысяч жен «изменников Родины», был не единственным, а одним из многих такого типа.

Мужскую часть человечества в нем представляли тюремные надзиратели в черных шинелях, пересчитывавшие нас каждое утро, и ассенизатор «дядя Кака», прозванный так двухлетним мальчиком Юрой, заключенным в лагерь вместе с матерью. У всех нас, очень разных — по моральным и интеллектуальным качествам, по прежнему положению своих мужей и их биографиям (были жены старых революционеров — Шляпникова, Бела Куна, жены военных — И. Э. Якира, его младшего брата, тоже расстрелянного, сестры М. Н. Тухачевского, жены руководящих партийных и советских работников союзных республик, председателей колхозов, просто колхозников, председателей сельсоветов, жены сотрудников НКВД, работавших при Ягоде), — был общий эквивалент, определивший путь в этот лагерь: жены «врагов народа», как правило, не знающие исключений, никогда ими не бывшие. Но мы именовались ЧСИРы — члены семьи изменников Родины. Большинство ЧСИРов в представлении лагерного начальства обладали, я бы сказала, абстрактными «вражескими» качествами, так как оно, начальство, само не понимало, что творится в стране. Приходил этап за этапом. Народ становился сам себе врагом.

Но когда лагерные начальники, в большинстве своем серые и малограмотные, сталкивались с женами бывших известных руководителей, то они представлялись им действительно врагами. На всю жизнь врезался в память эпизод, когда на второй день после моего прибытия в лагерь собрали «обыкновенных» ЧСИРов в круг перед бараками, поставили меня и жену Якира в центр круга и начальник, приехавший из ГУЛАГа (Главное управление лагерей), крикнул во весь голос: «Видите этих

женщин, это жены злейших врагов народа; они помогали врагам народа в их предательской деятельности, а здесь, видите ли, они еще фыркают, все им не нравится, все им не так». Да мы и фыркнуть-то не успели, хотя нравиться там никому не могло. Мы были даже относительно довольны, что после долгого мучительного этапа и пересыльных тюрем наконец (как мы думали) добрались до места назначения.

С яростью прокричавший эти страшные слова здоровый, краснощекий, самодовольный начальник направился к воротам Томской тюрьмы. Заключенные в ужасе расходились. Были и такие, кто стал нас сторониться, но большинство негодовали. Потрясенные, мы не могли сдвинуться с места — было такое ощущение, будто нас пропустили сквозь строй. Так и стояли в оцепенении на сорокаградусном морозе, пока кто-то не отвел нас в барак, в наш холодный угол у окна, обросшего толстыми махрами снега. Двухэтажные нары были битком набиты женщинами. Ночь — сплошное мучение: мало кому удавалось устроиться свободно, почти все лежали на боку, а когда хотелось переменить положение, надо было будить соседку, чтобы перевернуться одновременно, и начиналась цепная реакция всеобщего пробуждения.

В этот день барак походил на развороженный улей. Все взволнованно обсуждали случившееся. Иные злобствовали: «Вот, натворили эти бухарины и якиры, а наши мужья и мы из-за них страдаем». Остальные ругали начальника из ГУЛАГа, и многие советовали писать жалобу в Москву, но мы понимали, что это бесполезно. Ночь не спали, сидели на краю нар (места наши «заросли» спящими человеческими телами) — не только спать, даже жить в тот момент не хотелось. Мы тихо разговаривали.

11 июня 1937 года Якир был расстрелян. 20 сентября его жена и четырнадцатилетний сын были арестованы в Астрахани,

где они находились в ссылке. Сарра Лазаревна Якир и без того была еле живая. Я была арестована там же в один день с ними.

Теперь шел декабрь 1937 года — мне еще предстояло пережить расстрел Николая Ивановича, и я в напряжении ждала. Переписка была запрещена. Позже нам разрешили написать одно-единственное письмо с просьбой прислать теплые вещи и сообщением о возможности посыпать нам раз в месяц продуктовые посылки; но подтверждать письмом получение посылок запретили.

Уже под утро мы разбудили своих соседей, чтобы те уступили нам места, и только успели задремать, как началась проверка. Мы выстраивались в ряд, и дежурный надзиратель, молодой парень, начинал перекличку:

— Хвамилия, и.о., год рождения, статья, срок... хвамилия, и.о., год рождения, статья, срок...

И женщины покорно отвечали:

— ЧСИР — 8 лет, ЧСИР — 8 лет (изредка 5).

ЧСИР — звучало менее оскорбительно, чем «член семьи изменника Родины», а для малограмотных — были среди нас и такие — и вовсе ничего не значило. Они с трудом запоминали свое клеймо.

Подойдя ко мне, надзиратель с особым задором выкрикнул:

— А ну-ка, хвамилию?!

— Ларина, — ответила я: так у меня было записано в документах, тогда я еще не знала, что по делу проходила под двумя фамилиями. В этапе почему-то мою фамилию не спрашивали, ее, по-видимому, вписали уже в лагере.

— Ларина?! — закричал надзиратель. — А шпиёнскую молчишь?!

Нетрудно было догадаться, что означает «шпиёнская», и я ответила:

— Бухарина. Но она такая же шпиёнская, как твоя китайская.

Все испуганно замерли. Стоящая рядом Сарра Лазаревна Якир толкнула меня в бок.

— В карцер, что ль, захотела, в карцер? Не побывала еще — побудешь.

Так прошли первые дни в Томском лагере. В карцер, однако, меня не посадили.

Утром мы с Саррой Лазаревной вышли из затхлого барака в зону, чтобы отвлечься от своих мыслей, подышать воздухом. В морозной дымке светило малиново-кровавое сибирское солнце (к войне такое солнце, — говорили женщины) и чуть румянило снег, который у самого забора, куда не ступала нога человека (ходить туда было запрещено), сохранял свою девственную чистоту. По углам забора, наскоро сколоченного из горбыля, стояли вышки, откуда следили за нами дежурные конвоиры (их называли еще стрелками), и если чуть ближе подойти к забору, тотчас раздавался крик: «Стой! Кто идет?» Дорога, ведущая от убогих бараков к кухне, стала единственным маршрутом и всегда была полна женщин. На лицах многих лежала печать недоумения, испуга и страдания. В шутку мы называли эту дорогу «Невским проспектом» (среди нас было много ленинградцев) или «главная улица в панике бешеной». Чтобы не замерзнуть, бегали по ней толпы несчастных. Большинство — в рваных телогрейках, холодных бутсах. Те, кто был арестован летом, прикрывались лагерными суконными одеялами, заменявшими юбки или платки. Завидев издали, меня подозвала Людмила Кузьминична Шапошникова. Она знала моих родителей и помнила меня еще девочкой. Блондинка с зеленоватыми глазами и приятной добродушной улыбкой, Людмила Кузьминична и в лагере сохранила свое прежнее обаяние. Вопреки изнеженной внешности, скрывающей уже немолодой возраст, она была человеком волевым и мужественно ожидала надвигавшиеся новые беды. Старый член партии, как в те годы

говорили, «выдвиженка из работниц», когда-то она ведала в Ленинграде парфюмерной промышленностью и вместе с женой Молотова П. С. Жемчужиной побывала в Америке, где они были приняты Рузвельтом. В те годы за границу ездили редко, так что это событие осело в памяти. В лагере Людмилу Кузьминичну любили, она пользовалась авторитетом у ЧСИРОв, ее избрали на самый ответственный пост — заведовать кухней (никакого производства в Томском лагере не было).

Людмила Кузьминична предупредила меня:

— Будь очень осторожна, ничего не говори о том, что творится в стране, молчи о Николае Ивановиче. Обстановка тут мерзкая, вчера ты сама могла в этом убедиться. Развито доносительство. Таскают на допросы в 3-ю (следственную) часть. Многие гнусные бабы вызывают на провокационные разговоры, пытаясь заработать обещанную свободу. Время очень тяжелое, а тебе надо быть особенно осторожной. Тебе надо жить! А вот о себе я могу сказать — думаю, что мои дни сочтены*. Меня в живых не оставят.

— То есть как — сочтены? Вы же свои восемь лет получили, — наивно возразила я.

— Это еще не все, будет продолжение.

Шапошникова рассказала, что ее уже вызывали на допросы в лагере и, наверно, отправят снова в Москву. Я ничего не могла понять.

— Почему? — спрашивала я. — Почему?

— Знаю много, вот почему, — ответила Людмила Кузьминична, оглядываясь по сторонам, нет ли кого-нибудь рядом, но кругом никого не было, никого. «Ленинградка», — подумала

* После своего освобождения я узнала, что Л. К. Шапошникова была вторично судима и расстреляна. Ее муж Михаил Семенович Чудов расстрелян в 1937 г.

я, — близко стоявшая к тем, кто работал с Кировым. Сама говорит — знает много. Ближайшие товарищи Кирова, как они объясняли случившееся, что они думали?» Разве можно было упустить такой случай, разве можно было удержаться и не спросить, и я решилась.

— Людмила Кузьминична! Как все случилось с Сергеем Мироновичем, что вы об этом знаете? Там у вас в Ленинграде говорили же, наверно, знали больше?

— Ах, вот что ты захотела знать!

Покраснев, взволнованная и растерянная, она долго смотрела на меня.

— Что за вопросы ты задаешь, разве можно об этом говорить, — наконец произнесла она.

— Я думаю, нам можно, Людмила Кузьминична, нам можно!

— Да мне-то все равно умирать, а тебе ведь жить надо. Я не за себя боюсь, за тебя. Хотя... молчать ты умеешь, молчать как могила?

Как же было не обещать молчать, и она поверила.

— Зиновьеву Киров был не нужен. С самого верха это идет, по указанию Хозяина. — Именно так она выразилась. — Это поняли многие ленинградские товарищи после выстрела, понимал и Чудов.

Хотя к этому времени я тоже понимала, что не Зиновьеву гибель Кирова была нужна, у меня в голове бродило несколько возможных версий. Когда я уже была арестована, в Астраханской тюрьме (ни в коем случае не в момент убийства) я додумывалась и до самого страшного. Но когда эти мысли, даже еще лишь предположения, начинавшие созревать, подтвердились, я только и смогла произнести:

— Страшно!

— Страшно? — повторила Людмила Кузьминична. — А почему убийство Сергея Мироновича страшнее всех

остальных убийств? Это еще легкая смерть — убийство из-за угла, Киров погиб не как враг народа, не как шпион и мучений не испытал. А убийство Бухарина разве будет менее страшным? Не думай об этом, тебе еще много страшного придется пережить.

— Но через кого он действовал? — спросила я.

— Этого я тебе не скажу, это покажет время, — и Людмила Кузьминична, переменив тему разговора, стала вспоминать то лето, когда мы вместе отдыхали в Крыму, в Мухалатке, я с отцом, она с Чудовым. Людмила Кузьминична вспомнила, к моему удивлению, и несколько моих стихотворных строчек того лета, посвященных Чудову:

Что за чудо, что за чудо,
К нам приехал дядя Чудов.
Дядя — Чудов монастырь,
Ленинградский богатырь.

Мне тогда было пятнадцать лет. Чудов был высокий, широкоплечий, могучий человек. «Илья Муромец» — звала я его шутя.

— Вот богатырь, богатырь, а сдули, как соломинку.

Людмила Кузьминична смахнула слезу. И мы расстались, чтобы не привлекать внимания окружающих.

В лагере женщины изнывали и от ужасающих условий, и от безделья. Работы не было. Книг и газет не давали. Позже многим прислали в посылках нитки для вязания и вышивания. Особенно отличались украинки, их рукоделие было достойно художественных выставок.

Наиболее оживленным местом стала площадка возле кухни. Там кипела работа: выносили бочки с баландой и кашей, пилили и кололи дрова, жужжала пила и стучал топор. Особенной ловкостью отличалась живая, остроглазая Таня

Извекова, бывшая жена Лазаря Шацкина, организатора комсомола, любимого, авторитетного, интеллектуального вождя комсомолии первых лет Революции. На морозе со звоном падали из-под топора поленья. Вокруг работающих всегда собирался народ на подмогу. Оптимисты приносили радостные «параши» (слухи — на лагерном жаргоне): к Новому году будет амнистия, к 1 Мая — амнистия, а уж ко дню рождения Сталина — обязательно.

Навсегда осталась в памяти рабочая кухни Дина. Она была среди нас исключением. По отношению к ней была совершена двойная несправедливость. Дина не только не была женой «изменника Родины», но к моменту ареста вообще не была замужем. Женщина крепкого телосложения, бывшая одесская грузчица, Дина рассталась со своим мужем за много лет до ареста. Он тогда тоже был рабочим в порту. Только на следствии узнала Дина, что ее бывший муж занимал потом высокий пост в каком-то городе. Он никогда не сообщал ей о себе. Дина была гордая женщина, она не разыскивала своего супруга и растила детей, не получая от отца ни гроша. Не хлопотала она и о расторжении брака. Это обстоятельство и загнало Дину в капкан. Никакие объяснения на следствии не помогли.

В Томске Дина была использована как тягловая сила — она заменяла лошадь. Мы получали продукты из Томской тюрьмы. В обязанности Дины входило грузить продукты на телегу и доставлять их к кухне. Она подвозила картошку, капусту, крупу и мясные туши — такие тощие, будто эту несчастную скотину специально для нас и растили.

Нашу завкухней Л. К. Шапошникову бросало то в жар, то в холод: она не знала, как накормить всех нас такими продуктами — капуста и картошка были мороженые. Но ее организаторские способности проявились и здесь. Однажды она пришла к нам в барак и сказала:

— Девчата! — так она называла всех женщин независимо от возраста. — Я придумала вот что: из этого мяса все равно ничего хорошего не выйдет, будет баланда с мороженой картошкой без всякого навара. Давайте, пока морозы, соберем эти туши за неделю и к воскресенью готовим настоящий мясной суп, и даже по котлете, может быть, выйдет. Согласны?

— Согласны, согласны! — закричали все хором. Так поступили и в других бараках, их было, кажется, восемь. В воскресенье мы действительно получили хороший суп и по маленькой котлете. Но приготовить такой обед, как выяснилось, было очень сложно, и, несмотря на огромное количество свободных рук, работа оказалась трудновыполнимой: кухня не смогла вместить такого количества «поварих». И эксперимент больше не повторялся, по крайней мере при мне.

Заметив еще издали Дину, которая за оглобли тянула на-груженную телегу, мы всегда кричали: «Дина едет! Дина едет!» и бежали к воротам, чтобы помочь ей, подталкивая телегу сзади. Для того чтобы компенсировать затрачиваемую Диной энергию, исчислявшуюся в лошадиных силах, лагерное начальство распорядилось давать нашей «лошади» двойной паек. К сожалению, паек был такой калорийности (а овес Дина, естественно, не употребляла), что и тройной бы не помог, если бы Людмила Кузьминична не подкармливала ее на кухне.

Но однажды в Дининой жизни случилась беда. В Томский лагерь была заключена молодая женщина — Жилина, по прозвищу Кармен, потому что пела она хотя и неважно, но людям, лишенным всяких положительных эмоций при избытке отрицательных, доставляла радость. Прошли слухи — а слухи в лагере очень любили, — что Кармен была лысая и носила парик. Не скажу, чтобы этот вопрос интересовал большинство из нас, но Дину он заинтересовал. Она, конечно, не могла заподозрить, что у Кармен была лысая голова, как у градоначальника

Плюща из «Истории одного города». Наша Дина была очень любопытна. А любопытство от безделья усугубляется, и, когда Кармен шла в своем лагерном одеянии — бутсах и залатанном бушлате — по «Невскому», неожиданно налетела Дина и сорвала парик с ее головы. Легким движением, одной рукой водрузив плачущую, с лысой, как колено, головой, Кармен на свою спину, а другой размахивая париком, словно знаменем, Дина со звонким хохотом помчалась по дороге. Сейчас же подбежал надзиратель и заставил освободить Кармен. За озорство Дина была наказана пятью сутками карцера (холодное помещение, хлеб и вода). Когда надзиратель хотел повести ее в карцер, Дина решила воспользоваться своим единственным преимуществом — силой, стала сопротивляться, и маленький, щупленький надзиратель, вывернувший Дине руку назад, мгновенно оказался на Дининой спине. Так Дина под общий смех женщин донесла дежурного до карцера. Но отсутствие другой тягловой силы спасло ее, и на следующий день она вновь впряженная в свою телегу.

Кроме того, что Дина не была ничьей женой — ни «врага народа», ни его друга, — она отличалась от нас и тем, что была единственной, кому нравилось в лагере, и этим вызывала жалость. Так убого было ее существование на воле, так полно оно было заботами о детях, о хлебе насущном, так тяжка была для нее работа в порту, так безрадостна вся жизнь, что в лагере Дина почувствовала не неволю, а освобождение от житейских тягот и радость беззаботных дней. Весна в тот год выдалась на редкость ранняя, за все двадцать лет моего пребывания в Сибири больше такой не было. Дина ставила свою телегу с упавшими на землю оглоблями под единственное три березы, которые росли в зоне возле кухни (впоследствии и их срубили). Их ветки уже не только набирали почки, но кое-где разбросали нежное кружево чуть распустившихся бледно-зеленых

молодых листочеков. Как хороши были эти березки, возле которых толпились исстрадавшиеся, мрачные, обносившиеся, еще не все скинувшие свои грязные, серые телогрейки женщины, как они были хороши — на фоне обшарпанных низеньких бараков, затоптанной зоны, из которой, казалось, никогда не выберешься. Дина, закончив непродолжительную работу, ежедневно ложилась в своем лагерном одеянии на телегу под березой: в ботинках из свиной кожи на босу ногу, черной ситцевой юбке, замусоленной, непонятного цвета кофте (новую, доставшуюся ей, одной из немногих, телогрейку складывала вдвое, а то и вчетверо, и подкладывала под голову). Рядом всегда лежала темная матерчатая ушанка. Солнце уже припекало основательно, и на голове ушанка была не нужна. Но Дина заглядывала в будущее: зима впереди, да не одна, а целых восемь («Кто их знает, этих интеллигентов и неинтеллигентов, — пайку-то хлеба сперли», — рассказывала с возмущением Дина). Дине на кухне другую дадут, видимо, думала та, которая украла пайку, Дина голодная не останется. А вот шапку на кухне не дадут, и Дина предусмотрительно ее с собой таскала. Так все ее имущество с ней вместе на телеге лежало. В лагере вещи только обременяют: как этап — тащи их на себе. Но и без них несладко.

Я иногда присаживалась к Дине на телегу. Влекло меня к березкам, да и хорошо, что Дина была молчалива, никогда не спрашивала, как я отношусь к прошедшему в марте процессу, и мне не приходилось ломать голову, не провокационный ли ведется разговор. Ловушки после процесса были расставлены повсюду, да и где мне разобраться, кто какой человек! Уберечься невозможно. А с Диной было легко.

Но вот однажды и Дина разговорилась:

— Что ходишь сюда, скажи, жалеешь меня, что ль? Не жалей, не надо. Ты свою жизнь жалей, а мне тут неплохо. Дети в детдоме, во-первых, сыты, — и она правой рукой загнула палец

на левой, — во-вторых, одеты, — загнула второй, — в-третьих, обуты, — загнула третий палец.

— Ты даже по детям не скучаешь, Дина, и свободы тебе не жаль?

— А какая там свобода! С утра до ночи в порту. Да я и детей почти не видела.

— А почему ты не учились, Дина?

— Почему не учились?.. Советская власть головы не дала, — рассмеявшись, ответила Дина. — Пробовала даже, не получилось. Я тебе еще раз скажу, не болей за чужую свободу, болей за свою. Не болей за чужих детей. Если у тебя есть свои, болей за них. А вот зачем ты себе мужа врага выбрала, такая дивчина? Он-то, говорят, настоящий враг. У-у-у — лютый враг!

А я-то думала, она не знает, кто я. Меня словно кипятком ошпарило. Я спрыгнула с телеги и хотела бежать. Я ничего не могла ей ответить!.. Но Дина задержала меня своей большой сильной рукой и сразу изменила тон разговора.

— Знаешь, разное о нем балакают: и что он шибко умный был, а это смерть — шибко умному быть; чуть больше моего надо — и хватило бы. Ну даже что с самим Лениным работал, слыхала. Ну, может быть, это бабья брехня, но видать-то, наверно, видел его. Хоть разок видел, а? — спросила Дина с любопытством. И я за долгое время впервые улыбнулась.

— Не рассказывал он мне об этом, может, и видел разок, но кто с тобой балакает, Дина? Набалакаешься и в беду попадешь!

— Со мной-то кто? Да кто со мной говорить будет. Лежу здесь да слышу всякую болтовню: про то, про се...

Это был мой последний разговор с Диной, но до сих пор я ее вспоминаю.

Об этом разговоре я тогда решила рассказать своей любимице — Виктории Александровне Рудиной. Сарра Лазаревна

Якир и я познакомились с ней в Свердловской пересылке, куда мы прибыли этапом из Астраханской тюрьмы через Саратовскую пересыльную, она же — из московской Бутырской.

Саратовский каземат показался мне пострашнее Петропавловской крепости, наверное, потому, что в Петропавловской я была с отцом в качестве посетителя музея, хотя, может быть, в двадцатые годы музей еще и не был открыт, а Ларину было разрешено туда пройти как бывшему узнику. Привел он меня в ту самую камеру, где сидел до революции 1905 года. Длинный коридор Саратовской тюрьмы с затхлым, потерявшим прозрачность дымным воздухом казался адом. Шум из камер еле-еле проникал сквозь толстые двери. Слышался только звон ключей, висевших на поясах у надзирателей, да грохот открываемых засовов. И надзиратели были там почему-то особенно злые. Но, как ни тесно было в Саратовской пересылке, в камеру нас все-таки втолкнули. В одном лишь отношении было легче в пересыльных тюрьмах, чем в следственных, — мы ошибочно полагали, что судьба наша решена окончательно, и напряженность ожидания исчезала.

Свердловская же пересылка отличалась от других тем, что заключенные уже в камерах не помещались ни на нарах, ни под нарами, ни между нарами — поэтому нас поселили в коридоре. Коридор неширокий, светлый, так как «намордников» на окнах не было, и очень холодный. Расположились мы с Саррой Лазаревной Якир на полу, постелив байковое одеяло Николая Ивановича, а более теплым, шерстяным, якировским, — накрылись.

Рядом со мной лежала сумасшедшая ленинградка. Она то садилась и молча рвала свое черное зимнее пальто, раздирая его на мелкие ленточки, выщипывала ватин, то вдруг неожиданно поднимала крик на весь коридор: «Убили Сергея Мироновича, убили, все убили, все и сидим!», то порывисто вскакивала

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru